

Дмитрий Бураго пишет сочно, щедро рассеивая по строкам своих стихотворений образы и метафоры. Сквозь его стихотворную речь – словно, сквозь волшебные цейсовские стёкла – просматривается мир, который то сужается до мелких, но точно прописанных деталей, то расширяется свободным обзором широко распаханной картины. Он любит слово, звук, дорожит музыкальностью стиха, совпадающего с разнообразием ритмического рисунка стихотворения, рождённого свободным дыханием.

Д. Ч.

ГОРА

Если гору принять за дырявый камзол,
из кармана цедащий тропинку к утру
вдоль утёса, –

распахнётся картина,
и в шум рукава

обнажённые брызги

слетятся назад,

и взойдёт водопад

из провала в исток

отдышаться под дымчатый ворот.

На пороге равнины из тени и мха

То рождается штиль. То безветрие сводит с ума.
То стоит карусель на вершине державного взлёта.
То уходит в шумерский песок молодая пехота.
То на дне океана очнулись глухие грома.

КОЛОКОЛ

Начинается город с верлибра, начинается Киев с дождя.
И ещё Оболонь не охрипла, и Подол не молчит уходя.
Начинается город со звука, начинается осень с нуля:
Что по Павловской метит разлука? Что молчат с высоты тополя?

Что на дальних баянах-заборах ветер в пёстрой накидке садов
начинает из скрипа и сора выводить в первый ряд голосов?
Из пугливого ропота листьев, из нестройных порядков жилищ
бьются ставни, и выхода ищет сквозняков потайной пересвист.

Перевёртыш, простыш, тише будешь, если дальше и дольше бежать
из соседского детства Иуды в молчаливую ложь-благодать.
Но взлетают шумы мостовые, собирая обратно круги,
где базары гудят разбитные, вознося над собой пироги,

где трамвайные альты и скрипки, контрабасы бетонных цехов,
где гудят изложений ошибки и скребутся обрывки стихов.
И круги замыкая всё уже, всё настойчивей слух теребя,
под прохожими шлёпают лужи из каштанового октября.

Даже те, что почти неречивы, что вообще не способны на звук,
полушёпотом, речитативом возвращаются из разлук,
моросят из обид, обещаний, изо всех недосказанных зол.
Ах, как лают дворняги-мещане, сторожа от молчанья Подол!

И затягивая пояс туже, собирая звук в скорлупу,
Лаврский колокол голову кружит разгулявшемуся Днепру.

РОСИНАНТ

Владимиру Цыбулько

Писать нужно дальше, уверенней и жесточе,
копью – рвать пространство, нанизывая вдох на выдох,
сквозь циферблаты мельниц по сбитым лоткам и числам
скачи, Росинант, в хохот, хрипи от измен и шпор,
глуши камертоны боли губами далеких песен,
со всех оловянных ложек до всех окаянных войн
стучи по тугому грунту гранатовыми копытами,
по клавишам стёртых буквиц во весь алфавитный стан,
дави на стоглавый ропот венозный нектар гортанный,
пронзая простор любовью, запёкшейся седоком.

ПОЭТЫ

Павлу Васильеву

Мои ровесники сбежали в непроходимые печали
из торжества.
Листва раскачивает дали, в которых солнца прогорали
их озорства.

Косятся на погосты травы. Дрожат от полымя дубравы.
Даль занялась.
Какие ваших душ суставы не раскрошили для забавы
молва и власть?

В какие песенные реки ходили из варягов в греки –
а брода нет.
И нет такой библиотеки, чтоб отдышались человеки
от зол и бед.

И нет такого оправданья или такого покаянья,
чтобы на всех,
когда срывается дыханье и замыкается сознание
на страх и смех.

Юродивые, скоморохи – то пир, то крохи,
то пляска до конца души.
Ох, окаянные пройдохи, во все века вы были плохи
и только за́смерть хороши.

СНЕГОВИК

Поле возниким собрано в узелок –
комом за левым плечом.
Небо наотмашь, лес напролом.
Хаты дрожат подпольем.

Старая ведьма бредит: «Сынок! Сынок,
где же твой сладенький позвонок,
чтобы звонить по нему тайком
изо всей боли!»

Снеговик Голем
с морковкой и в жестяном ведре
грезит на проходном дворе
и почти уверовал, что перешёл поле.

Что же ты, Голем? Где твоя власть?
В этих заборах какая страсть,
если за полем город?

Если до тридевяти земель
будет бродить в тебе зоркий хмель,
не преломив забора.

Если на всех дворовых ветрах
будет распят твой родимый страх,
и до седьмого пота

будешь искать свои семь колен
в скрепах имен и расстрельных стен,
перебирая фото.

Катит безумие свой клубок,
в сердце губительный погромок
с кровью играет в прятки:

Холодно! Холодно! Чуть теплей!
Почерк уборист, ручей острей.
Что же ты ждёшь отгадки?

Солнце напялило каблуки –
захорошели лучей штыки.
Жарко, уж очень жарко!

Это с тебя жестяной должок:
ближе, чем насмерть, нельзя, дружок, –
Голем насмарку.

Тащит морковку шальной ручей
в бликах ликующих палачей.
Имя – воронка.

Поле возничий пускает влёт –
в небе отчаянный ледоход.
Жребий вдогонку.

ФАНТАЗЁРЫ

Наталье Бельченко

Один за другим потянулись к реке фантазёры,
на цепких мостках притаились лукавые снасти,
клюёт на мастырку, червя, на опарыш, на шорох
в разинутом зеве, в развёрзнутой пропасти-страсти.

Что ловят они, застывая в губах парапета,
комочки смычные, горячие мякиши звука,
их слижет простуда, примнет бестолковость рассвета,
и тихо вернуться в свою и чужую разлуку.

Пока не стемнело и волны ведут изложение –
диктуют улыбки Днепра изумрудные ряби,
их рыбы прядут в неразгаданных кликах забвенья,
и явь, как наживка, стихает в стенаниях рабби.

Что гонит тебя из фейсбука в чернильную заводь,
на что тебе рыба, когда наступает затмение –
то сумрак вскрывает над Лаврой кровавые жабры
и топит её очертанья в молитве вечерней.

ПИОН

Есть в синем цвете красный брадобрей.
Есть в жёлтом – чернь. В зелёном – долгий омут.
Из тучных клубней тянутся бутоны
на ломких кисточках в лохматый белый свет.

Зажмуришься – и катится назад
цветочный шар переплетённых вёсен,
бунт красок переходит в буйство, жар,
сад воскрешён и ветер светоносен!

Кружит палитра омуты времён –
теряет страх и голову пион.

ВОЙНА

Украина – имя мило, горькое наречье.
Сколько судеб пригубила – похмелиться нечем.
За Дунаем солнце режет рваными краями
тучи жадные на межи с рвами та горбами.
Хорохорятся сестрицы – удалцы сподвигли
рукодельные зарницы запихнуть в глазницы.
Гибли, гибли – сколько цвета запеклось в отваге,
да такого, что ответа не сносить бумаге!
Да такого, что за Доном Солнце-кобылица
озаряет терриконам скошенные лица.
Воздух жирный, воронёный – что ни вскрик, то искра!
Как же это невозможно! Как же близко!

РАБЫНЯ

Мне причудилась рябина.
Мне привиделась икона.
Этот мир спасет рабыня,
что в молитве непреклонна,

что раскосыми ночами
изо всех надежд, испугов
обращает слёзы в камни,
камни складывает кругом,

голыши и самоцветы
тельце к тельцу прилагая,
чтобы не было просвета,
не возникла мысль другая.

В малахитовом хитоне,
как в зрачке, клубком свернувшись,

то сверкнет, то монотонно –
причитания всё глуше.

Расцветает Божий щебень.
Разгорается рябина.
Всё на свете – шёпот, щебет.
Этот мир спасёт рабыня.

РИФМА

Подгуляла рифма, наблатыкалась:
строит рожи, крутит языком,
верховодит, жалится, истыкала
стопки томиков свинцовым каблуком.

Ты её не жалуй, не подлаживай
умствие под вычурный кутёж,
потому что в ней сгорают заживо,
озаряя образов крутёж,

потому что от её ауканья,
перестука, схвата, гопака
чудный смысл, догадку, как в строку коня,
запрягает звук издалека,

потому что всё уже досказано,
всё сбылось – ты только отвяжись
от опаски из небесной скважины
отозваться в собственную жизнь.

КОРОВА

Парное лето. Поле в запустенье.
Черкасские обрывы на сносях.
Сипят, гундосят в рыжем нетерпенье
степные слепни на рябых боках.

Коровий день медлителен до дрожи:
то мордой крутит, то разит хвостом,
то долго смотрит на одно и то же,
как будто поле ходит ходуном.

Потом придёт усталая дорога,
родимый хлев, знакомая рука
и тёплый сон за пазухой у Бога
с разводами парного молока.

СОПРАНО

Иль это только снится мне?

А.А. Блок

Контрабас рвёт пальцы, плещут клавиши,
каменеют брызги барабана,
саксофон, взлетая, стынет заживо,
уступая призраку сопрано.

И ещё почти не слышно голоса
в бирюзовом отсвете рояля,
а уже валторны клонят головы,
проводя дыхание по залу.

Издалёка, как дымок над хутором,
проступая в теневые пагоды,
пошептом из солнечного хруста
расцветает консонантов радуга.

И уже неважно, что завédено,
разнит уязвлённых и богатых, —
агнец, обернувшись в ткани ведьмины,
раздувает угольки стаккато.

Всё поддастся страсти и смятению,
всё сожмётся, вырвется, расплещется,
озарясь перевоплощением
невозможной к приближенью женщины.

Там, за ней, хрустальные соборы,
дерзновенья сладостного клича.
В ассонансе трепет Терпсихоры
выдаёт безумия величье.

И, достигнув высоты молчания,
замерев на раскалённой ноте,
улыбнётся в суету отчаянья:
эта гибель — вечная работа.

Отступив под флейтовые своды,
в заводи смычкового смирения,
тихо гаснет в сумерках фагота,
осыпаясь бархатом сирени.

А потом ладошкою по залу,
как по запотевшему окошку, —
то её улыбка задрожала
или боль утешилась немножко.

Торжество букетов и объятий
под высокой люстрой быстротечно,
и уже невыносимо платье,
холод обволакивает плечи.

Слава Богу, все уходят в улочки,
и опять за праздничную смерть
будут светоносить окна булочной,
в кабаках до одури гореть.

Косточки на палочках, откровений кляузы,
собираясь в каторжный клавир,
душу мнут, заманивают в паузы
ненасытный, непроглядный мир.

СУББОТА

Марии Бураго

Шестого дня отчаянье роднило,
слух осеняла зоркая пчела,
во всех соборах будущность бубнила,
со всех разлук свидания ждала.

И на миру в необратимый праздник
соцветия садов и облаков —
так далеко до неизбежной казни
и так светло от страстных катастроф.

Пыльцой ведёт пчела свой мёд с изнанки,
в мясистых сотах пенится янтарь —
под побежалостью искрятся перебранки,
дымится киноварь и проступает ярь.